

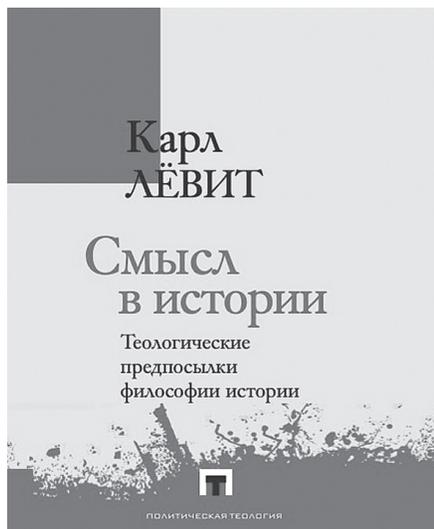
Рецензии

Смысл в истории. Теологические предпосылки философии истории

КАРЛ ЛЁВИТ

Перев. с англ. А.А. Саркисянца

СПб.: Владимир Даль, 2021. – 509 с.



Карл Лёвит относился к европейским интеллектуалам еврейского происхождения, которые после прихода к власти нацистов нашли прибежище в США, значительно обновив и обогатив местную академическую культуру. Рецензируемая книга – ключевая в наследии мыслителя – вышла в 1949 году; она была написана по-английски и являлась репликой в большом, преимущественно немецкоязычном, разговоре, вращавшемся вокруг проблем секуляризации и политической теологии. В ходе этих дискуссий обсуждались фундаментальные свойства и структуры западного религиозного, политического и исторического мышления и предпринимались попытки критического рассмотрения истоков и принципов Нового времени –

эпохи, приведшей в XX веке Европу к небывалым катастрофам.

На протяжении всей книги в фокусе внимания Лёвита находится одна из важнейших самопровозглашенных особенностей Запада: историческое сознание, анализируемое на фоне двух предшествующих европейских мировоззрений – античного и христианского. В замечательно подробной и исключительно содержательной сопроводительной статье к русскому изданию переводчик книги Альберт Саркисянец, проясняя и контекстуализируя философский проект Лёвита, условно выделяет в нем три слоя аргументации: теологический тезис о невозможности подлинно христианской философии истории; исторический тезис о происхождении нововременных представлений о прогрессе из иудео-христианской эсхатологии; общефилософский тезис об исчерпанности современной устремленности в будущее и необходимости изобретения новых способов существования человека в мире. Каждое из этих положений, реагируя на актуальные дискуссии, в свою очередь вызвало важные полемические отзывы – они также разобраны в статье Саркисянца, – однако стоит обратиться и к внутренним взаимодействиям этих компонентов в рамках самой книги.

Лёвит постулирует два базовых способа отношения субъекта к истории и – шире – к миру вокруг. Один из них наделяет исторический процесс смыслом и целью, прозревая за хаосом разнородных событий разумный порядок. Другой, напротив, воздерживается от поспешных суждений, пребывая «в отрешении и покорности, в отсутствии иллюзий и самонадеянности» (с. 89). В наши дни эти два отношения к истории могут в равной мере встречаться

как у верующих, так и у атеистов, однако при их проекции на этапы европейской истории возникает другой расклад. Отказ от наделения исторических событий итоговым смыслом – свойство античного восприятия истории, стоического фатализма, наблюдающего за произволами фортуны, возносящей и низвергающей народы, и растворяющего мир людей в вечном возвращении космических круговоротов природы; этот взгляд можно обнаружить у Геродота, Фукидида и Полибия. Альтернативный же подход, размыкающий круг и вводящий категорию будущего, к которому телеологично стремится исторический процесс, надеясь обрести в финале свое исполнение, присущ христианству.

«Нововременное сознание не решило, быть ли ему христианским или языческим. Один его глаз – это глаз веры, другой – глаз разума. Следовательно, его взгляд с необходимостью оказывается замутненным в сравнении с греческим или библейским» (с. 422).

Обоснованием этого диагноза и занимается Лёвит.

Ключевой герменевтической процедурой, организующей книгу, оказывается рассмотрение важнейших западных концептуализаций истории и их соотнесение с античной и – в первую очередь – с христианской моделью. Серия небольших глав, в которых очерчиваются теории очень разных европейских мыслителей, призвана продемонстрировать тот фундаментальный факт, что в основе всех секулярных философий истории, постулирующих прогрессивное движение человечества к земному совершенству, лежит христианская схема, ведущая от сотворения мира и грехопадения человека через распятие и воскресение Христа к Страшному суду и финалу истории. Процесс секуляризации переводит трансцендентный миру исход истории священной в имманентный миру исход

истории профанной, и Царство Божие теперь ожидается не на небе, а на земле. Свое изложение Лёвит строит в обратной последовательности и вначале анализирует недавние для его времени историософские построения Тойнби и Шпенглера, чтобы затем все глубже погружаться в историю. Первой важной остановкой на этом пути становится Якоб Буркхардт. Выдающийся историк, он отказывается от христианских и нововременных попыток приписать историческим событиям какой-либо высший смысл, критически относится к либеральному прогрессивизму, не ждет ничего хорошего от будущего, но сохраняет приверженность идее исторической преемственности западной цивилизации – единственный элемент провиденциализма в его скептическом пессимизме; эта позиция максимально близка самому Лёвиту. Иудео-христианский мессианизм легко вычленивается у Маркса, как и секулярная теодицея, фундирующая философию Гегеля. В построениях Прудона, Конта, Кондорсе и Тюрго прогресс принимает на себя функции провидения, а религия зачастую низводится до одного из этапов более общего секулярного развития человечества. Вольтер сочиняет опыт истории, в которой точкой отсчета становятся не события священной истории, а совершенствование разума и нравов по ходу цивилизации. Вико сложно сочетает христианское провидение с античными повторяющимися циклами развития и историзацией религии.

Постепенно Лёвит переходит от секулярных нарративов, апроприирующих христианскую эсхатологию, к церковным сочинениям: Боссюэ помещает политическую историю в рамку детерминирующей ее истории священной. Вслед за этим идет анализ важнейшей для общей концепции книги фигуры Иоахима Флорского, который в XII веке предложил аллегорическую интерпретацию Апокалипсиса, соотносящую его, и вообще Библию, с событиями и героя-

ми земной истории, а также предрекающую эпоху третьего завета. История священная оказалась наложенной на историю профанную и в ней должна была достигнуть исполнения. Эта модель позволяет легко перейти к ожиданиям Царствия Божьего на земле, и в специальном приложении к книге Лёвита намечает историю рецепции учения Иоахима вплоть до идеологов нацистской Германии. Образцом подлинного христианского отношения к истории служит Августин: отвергая античные представления о космосе, он предписывает отрешение от всех видимых вещей, так что политическая история не имеет никакого значения для града Божьего, для времени, движущегося от начала к концу. Более внимательным к мирским событиям был ученик Августина – Орозий, – но и для него «секулярная история не имеет смысла в себе самой» (с. 381). Таким образом, движение в глубь истории, множащиеся примеры христианской подкладки западных историософий подводят Лёвита к парадоксальному заключению, что само христианство при этом радикально не согласуется с историческим мышлением и не должно служить для него моделью. Этот тезис – разумеется, прескриптивный и теоретический, а не дескриптивный и исторический – обосновывается в последней главе книги. Согласно Лёвиту, подлинное – выводимое из толкования Нового Завета – христианство задает темпоральность, структурированную через три момента: начального акта творения, центрального события воплощения Христа и финального исполнения истории спасения. Ключевое событие истории для христианина уже произошло, и оно дает надежду на чаемый конец. Эта модель держится исключительно на вере, не может быть подтверждена разумом, никак не соотносится со светской историей и, следовательно, не может участвовать в построении секулярной философии истории.

Итак, Лёвит демонстрирует, почему христианство не должно обращаться к философии истории. Это, однако, совершенно не отвечает на вопрос, почему к христианству не может обращаться современная философия истории. Вычленение одной и той же христианской схемы в разнообразных секулярных теориях прогресса может скомпрометировать их с точки зрения оригинальности или иронично указать на те из них, которые утверждают свое превосходство над религией; однако все это не мешает придавать истории имманентный смысл и цель по образу и подобию библейской эсхатологии. Критика современного прогрессивизма и стремления исполнить историю в ней самой осуществляется у Лёвита с помощью других средств: он просто раз за разом отсылает читателей к новейшим историческим событиям. Обосновывая композицию своей книги, он методологически утверждал наличие «мотиваций, проистекающих из современности» (с. 94) в средоточии акта интерпретации, и его текст оказывается пропитан регулярными напоминаниями о недавних катастрофах и актуальных тревогах западного мира: Великой депрессии, Второй мировой войне, атомной бомбе. В этом персонализированном, если не травматическом, письме идея исторического прогресса автоматически вызывает в памяти самые страшные страницы эпохи модерна.

«Третья эпоха, о которой говорили иоахимиты, стала третьим Интернационалом и “третьим рейхом”, начало которым кладет *dux* или *Führer*, провозглашаемый спасителем и встречаемый миллионами возгласом “*Heil!*”» (с. 347–348).

Кошмар истории словно парализует Лёвита и не дает его мысли перейти к конструированию положительной программы. Как отмечает Саркисьянц, Лёвиту «приходится спиритуализировать и деполитизировать христианство» (с. 36). Критикуя

любые попытки сблизить христианство с современностью, он неоднократно атакует либеральных теологов, занимающихся теодицей секулярных западных обществ, но тотальный запрет на политическую теологию не позволяет ему допустить применения эсхатологических моделей и для эмансипации угнетенных, как это делал Бенъямин. Христианство должно полностью устраниваться из современного мира; современный мир, повинный в неизмеримых страданиях, должен решительно отвергнуть все свои самодовольные философии истории; можно было бы постараться вернуться к античной мудрости, но второе приложение к книге рассказывает, как возрождение учения о вечном возвращении не помогло Ницше выйти за рамки христианства.

Книга Лёвита, как уже говорилось, является очень важной для дебатов о секуляризации и политической теологии – интеллектуальной традиции, прекрасно известной специалистам, но, как представляется, недостаточно знакомой более широкой русскоязычной публике. Между тем, учитывая исключительную значимость этой оптики для любой интерпретации опыта европейской модерности, ее популяризацию в России можно только приветствовать. В своей книге Лёвит ссылается на Толстого, Достоевского, Соловьева, Бердяева, Мережковского; это позволяет вписать русских авторов и советский опыт в горизонт общей проблематики модерна, политической теологии, соотношения революции и мессианства и так далее – и поместить слишком часто экзотизируемые и обособляемые явления в общеевропейскую систему координат. Тренируемое при чтении этой книги умение вычленять христианские схемы в самых нехристианских

построениях может оказаться полезным для выработки критической дистанции по отношению к современным модным позитивистским теориям и проповедникам научно-технического и морального прогресса и просвещения.

Давняя книга Лёвита во многом выглядит сейчас историческим артефактом. Обсуждаемые в ней проблемы – история, христианство, секуляризация – приводят на память диалоги из «Волшебной горы» или писавшегося в то же время «Доктора Живаго». Такое выяснение отношений старой Европы с самой собой отделено от нас, скажем, постколониальной и феминистской критикой, необратимо перекрывшими способы мыслить и писать историю. Тем не менее этот высказанный из абсолютного надира европейской истории отказ от какой-либо исторической перспективы, от любой надежды на будущее продолжает быть чрезвычайно сильным жестом. Сейчас, когда многие горизонты схлопываются, а историческое мышление выясняет свои пределы в столкновении с планетарным экологическим кризисом¹, книга Лёвита оказывается чтением, весьма поучительным.

Олег Ларионов

Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления

Дэвид Уоллес-Уэллс

М.: Индивидуум, 2020. – 320 с. – 6000 экз.

Анонсируя выход этого впечатляющего текста в нашей стране, Русская служба Би-би-си назвала его «самой страшной книгой в мире»². И это едва ли преувеличение:

¹ См.: ЧАКРАБАРТИ Д. *Об антропоцене*. М.: V-A-C Press, 2020.

² Козенко А. *Самая страшная книга в мире. На русском языке выходит «Необитаемая Земля» – о том, что с нашей планетой делает потепление климата* // BBC News – Русская служба. 2020. 5 сентября (www.bbc.com/russian/features-54032169).

чтение предлагаемых читателю трехсот страниц завораживает, подобно тому, как приковывает к себе саспенс в хорошем триллере: иногда хочется закрыть глаза, но не получается – приходится смотреть дальше, преодолевая себя и изнывая от ужаса. Казалось бы, нового не так уж и много: британско-американский журналист всего лишь обобщает и комментирует ставшую фоном нынешней жизни дискуссию о крушении нашей планеты как биологически сбалансированного целого. После знаменитых докладов Римского клуба удивить грамотного человека алармизмом отнюдь не легко, но Уоллес-Уэллс не просто удивляет – он сражает наповал.



«Все намного хуже, чем вы думаете, – начинает автор. – Многие считают, что изменения климата происходят очень медленно, но это ерунда, пожалуй, столь же опасная, как и утверждение, что никаких изменений не происходит вовсе» (с. 17). Буквально в последние двадцать лет тепловая дестабилизация Земли позволила ученым говорить, что мы стоим на пороге очередного массового вымирания видов – шестого за всю земную историю. Судя по ископаемым находкам, каждое из них было настолько всеобъемлющим, что выполня-

ло функцию эволюционной перезагрузки, стирая многообразие жизни практически начисто: 450 миллионов лет назад вымерли 86% всех видов животных; через 70 миллионов лет – 75%, через 125 миллионов лет – 96%, через 50 миллионов лет – 80%, через 135 миллионов лет – снова 75%. В ходе самой значительной из этих волн углекислый газ, вызвав потепление Земли на 5°C, спровоцировал настолько мощный выброс метана, что «почти все живое на Земле погибло» (с. 18). Несмотря на грандиозные временные интервалы, которые даже помыслить себе трудно, в книге утверждается, что в настоящий момент беда не просто нависла над нами – она уже случилась, причем многие даже не заметили, как это произошло.

«История саморазрушительной деятельности мировой промышленности – это история длиной в одну человеческую жизнь. Планета перешла из сравнительно стабильного состояния на грань катастрофы за время, которое нам отпущено между колыбелью и могилой» (с. 19).

Выбросы углекислого газа в атмосферу начали стремительно нарастать с XIX столетия, когда в Европе развернулась промышленная революция. Вследствие запущенных ею процессов, шедших на протяжении двух последних столетий, сейчас в атмосфере планеты скопилось на треть больше CO₂, чем 800 тысяч лет назад. Причем, подчеркивает автор принципиальную для него мысль, половина углекислого газа попала в атмосферу из-за сжигания ископаемого топлива за последние тридцать лет. Изменение температурного тонаса планеты оборачивается обширной деградацией среды обитания, которая в свою очередь разжигает вооруженные конфликты и провоцирует массовые миграции. Говоря о том, что на 2050 год ООН прогнозирует 200 миллионов беженцев, Уоллес-Уэллс напоминает: ровно столько составляло на-

селение всего мира в эпоху расцвета Римской империи. И это лишь одна из невообразимых цифр, которыми изобилует книга. Согласно Киотскому протоколу 1997 года, порогом катастрофы предлагалось считать глобальное потепление на 2°С, но сегодня об этом лимите даже не вспоминают; в порядке вещей видится то, что к 2100 году показатель, совсем недавно казавшийся шокирующим, будет превышен в два раза или больше. Но даже при потеплении на два градуса «ледяной покров начнет разрушаться, количество людей, страдающих от нехватки воды, увеличится на 400 миллионов, крупные города в экваториальной зоне станут непригодными для жизни, и даже в северных широтах летняя жара будет убивать тысячи людей» (с. 29). Обрушение экологических опор планеты идет каскадным образом, надлом в одном звене тянет за собой распад других звеньев, и ни одна из обозначившихся проблем не поддается решению обособленно, в автономном режиме. Дальнейшее развитие человеческой цивилизации подобным образом лишается былой многомерности: мир, используя формулировку одного из апологетов глобализации, по-настоящему становится «плоским» – в том смысле, что при сохранении нынешних тенденций его путь просматривается заранее³.

«Мы прошли этап, когда природа позволяла человечеству развиваться как виду с неопределенными перспективами на то, как этот вид будет существовать в дальнейшем. Климатическая система, взрастившая нас и все, что мы знаем как проявление человеческой культуры и цивилизации, теперь, подобно престарелому родителю, умирает. [...] Мы просто спровоцировали этот процесс; сначала в неведении, а потом в отрицании, создав климатическую систему, которая будет воевать с нами на протяжении столетий, возможно, пока не уничтожит нас» (с. 36–39).

3 Имеется в виду книга американского журналиста Томаса Фридмана «Плоский мир. Краткая история XXI века» (М.: АСТ, 2007). – *Примеч. ред.*

Вместе с тем, несмотря на удручающие картины, представляемые автором, сам он не считает нынешнюю ситуацию абсолютно безнадежной: «Сражение, определено, еще не проиграно и не будет проиграно до тех пор, пока мы не выйдем» (с. 53). Причем, как утверждается в работе, и рецептура необходимых мер, и последовательность их осуществления рисуются озабоченной общественностью вполне четко: если до 2040 года удастся воплотить невероятно сложный, но технически реальный проект отключения всей мировой промышленности от ископаемого топлива, то перед человечеством откроется множество путей – при условии, что мы «не окажемся слишком ленивыми, близорукими и эгоистичными, чтобы вступить на них» (с. 54). Резервы расточительства, позволяющие сделать это, сегодня видны невооруженным глазом. Например, в нынешней Великобритании половина выбросов обусловлена неэффективным строительством, изготовлением неиспользуемой еды, а также невостребованной электроники и одежды. А США, которые тратят впустую не половину, но целых две трети получаемой энергии, в настоящее время еще и глобально субсидируют добычу ископаемого топлива на пять триллионов долларов в год.

Между тем, если бы «углеродный след» среднего американца уменьшился хотя бы до того уровня, который присущ среднему европейцу, планета уже вздохнула бы с облегчением. По сравнению с тем, что может ожидать нас через полвека или век, даже скромная оптимизация потребления, осуществленная самой сытой частью человечества, была бы отличным вариантом:

«Мы еще сможем прийти к счастливой климатической развязке – вернее, создать ее через технологии сбора углекислого газа и геоинжиниринга или в виде технологической революции, энергетической или политической» (с. 56).

Но, разумеется, Уоллес-Уэллс отдает себе отчет, что сохраняющаяся неопределенность катастрофического сценария уравновешивается столь же очевидной неопределенностью благополучного исхода. Тем более, что хроники последних двух поколений выглядят не слишком утешительно:

«За 75 лет с того момента, когда глобальное потепление начали воспринимать как проблему, мы не совершили никаких корректировок в производстве и потреблении энергии, чтобы контролировать эти процессы и защитить самих себя» (с. 68).

Фундаментальным недугом планеты выступает глобальное потепление – это, по сути, базовое заболевание, влекущее целый ряд осложнений, тесно связанных между собой. Многие цивилизационные сдвиги последних двух столетий, о которых мы привыкли говорить с гордостью, в настоящее время выступают убедительными свидетельствами человеческой уязвимости. По мнению автора, одним из ярких примеров тому служит тяготение большинства землян к жизни в городах. Через три десятка лет в городских центрах, согласно оценкам ООН, будут жить две трети населения мира; это означает появление 2,5 миллиардов новых горожан. Между тем в современном мегаполисе перегретые дневной жарой бетон и асфальт, остывая ночью, дают мощный прирост тепла. Вдобавок к этому максимальная летняя температура, фиксируемая в трех с половиной сотнях самых крупных городов Земли, в последнее время превысила 35 °С. В результате «уже сейчас тепловой стресс угрожает миллиарду людей, а треть населения мира испытывает смертельную жару в течение не менее чем двадцати дней каждый год» (с. 73). В некоторых случаях эти вспышки жары становятся буквально уничтожающими; именно в таком разрезе в предисловии к книге упоминается тепловая волна 2010 года, которая вошла в десятку

самых смертоносных стихийных бедствий на планете, лишив жизни более 50 тысяч россиян (с. 12).

Но повсеместная жара – это не только задыхающиеся города. Из-за нее землян будет ожидать отнюдь не единственная напасть, а великое множество горестей. Прежде всего в обозримом будущем неминуема нехватка еды, поскольку с каждым градусом потепления урожаи основных зерновых культур будут снижаться на 10%, хотя к 2050 году растущему населению нашей планеты потребуется вдвое больше еды, чем сегодня. «В прошлом империи создавались на урожаях, – пишет Уоллес-Уэллс. – Изменения климата породят империи, основанные на голоде среди беднейших слоев населения» (с. 86). Запасы пищи будут убывать на фоне нарастающего избытка воды, причем, к сожалению, не пресной, дефицит которой становится все более острым, а соленой. Опираясь на имеющиеся прогнозные модели, автор сообщает, что при сохранении нынешнего уровня выбросов углекислого газа к концу текущего столетия уровень океана поднимется как минимум на 1,2 метра (с. 87). Казалось бы, не так уж и страшно; но многое зависит от того, как человечество собирается вести себя в дальнейшем. Например, согласно Геологической службе США, подъем морей на 50 метров не следует считать чем-то невероятным. Оценивая эту цифру, надо иметь в виду, что в настоящее время около 600 миллионов обитателей нашей планеты, и не только в отсталых, но также в передовых странах, живут на высоте в пределах десяти метров от уровня моря (с. 99). Разумеется, самой пугающей переменной в этой истории остается скорость наступления потопа, предсказать которую невозможно.

Все более ощущаемый избыток воды никак не сказывается на другом последствии глобального роста температур, каким стали повсеместные лесные пожары. Во многих регионах планеты это явление преврати-

лось из сезонного в круглогодичное. Дым от горящих деревьев превращает мировые леса, когда-то служившие главным поглотителем вырабатываемого человеком углерода, в его существенный источник. При этом мировое сообщество ничего не может противопоставить суверенному самоуправству нынешнего президента Бразилии, открывающего для промышленной вырубки уникальные леса Амазонки – несмотря на тот факт, что реализация этого решения обернется увеличением глобальных выбросов на сумму годовых выбросов Китая и США вместе взятых (с. 108). Автор, собственно, и не скрывает: нынешний подъем национализма, наблюдаемый повсюду, и сопутствующая ему «суверенизация» мировой политики – одно из главных зол, не позволяющих эффективно блокировать потепление.

На протяжении всего повествования Уоллес-Уэллс на разные лады повторяет одну и ту же мысль: глобальный характер приближающейся трагедии абсолютно не сочетается с попытками локальных ответов на нее. Чтобы противостоять превращению Земли в необитаемую планету, отчаянно требуется единая политическая воля, но таковой на сегодня и близко нет – причем, несмотря даже на то, что «у нашего мира есть максимум тридцать лет для полного отказа от углеводородного сырья, прежде чем начнется по-настоящему разрушительный климатический кошмар» (с. 282). Классическая форма *nation state*, утвержденная Вестфальской системой международных отношений, не позволяет эффективно решать наиболее насущные проблемы человечества.

«Но если бы потребовалось придумать масштабную угрозу, достаточно глобальную, чтобы породить систему настоящей международной кооперации, такой угрозой могло бы как раз стать изменение климата – оно глобальное, всеобъемлющее и угрожает всем. Но именно сейчас, когда потребность

в этой кооперации особенно высока и действительно необходима для выживания нашего мира, мы идем в противоположном направлении: ударяемся в национализм, снимаем с себя бремя коллективной ответственности и разобщаемся» (с. 44–45).

«Великое экзистенциальное прозрение» в отношении глобального потепления пока не посетило не только политические, но даже экономические элиты (с. 57). С грустной иронией автор комментирует текущие разработки Кремниевой долины, высоколобные обитатели которой «гораздо меньше задумываются о безудержных изменениях климата, чем о безудержном развитии искусственного интеллекта». Эти люди «способны воспринимать всерьез лишь те угрозы, которые они сами породили», что делает их абсолютно беспомощными перед лицом беспрецедентных нынешних вызовов (с. 227).

Основные надежды в книге возлагаются на интернационал ученых со всей его информированностью, хотя, как представляется, автор немного переоценивает могущество этого актора.

«Ученые десятилетиями представляли обществу неоспоримые данные, показывая каждому, кто был готов их выслушать, какой кризис ожидает планету, если ничего не предпринимать, но год за годом наблюдали, как все сидят сложа руки. Если бы бразды правления оказались в их руках, они бы точно знали, что делать, паники можно было бы избежать. Почему же их никто не слушает?» (с. 208).

Ответ, собственно, очевиден: одних познаний, пусть даже фундированных и обстоятельных, которые можно противопоставить невежеству, категорически недостаточно, чтобы переломить ситуацию, поскольку «в настоящий момент мы коллективно выбрали путь катастрофы» (с. 297). Более перспективными в нынешней ситуации представляются, наверное, граждан-

ские усилия. Из авторского повествования логично вытекает вывод, что очень скоро главным генератором политического процесса – по крайней мере в демократических странах – станет «зеленая» повестка. Но если в одних уголках планеты глобальное потепление будет рушить правительства и правящие коалиции, то в других – оно будет провоцировать всевозможные формы прямого политического действия, иначе говоря, бунты и восстания. И вот тут уже обсуждениями и прокламациями ограничиться будет невозможно.

Фактически всеми своими рассуждениями британско-американский писатель показывает, насколько отстала от жгучих запросов современной жизни такая форма политического бытия, как национальный суверенитет. В рядах мирового сообщества сегодня нет явных противников стратегии устойчивого развития, которая, в принципе, могла бы блокировать глобальное потепление: поголовно все с разной степенью энергичности и красноречивости «за». Но, когда дело выходит за рамки заявлений и требует конкретных действий, мгновенно выясняется, что во взаимоотношениях государств между собой и в восприятии ими общечеловеческих проблем по-прежнему торжествует безграничное своеволие, питаемое «суверенными интересами» и «суверенными правами». Понятно, что такая многоголосица обесценивает любые попытки человечества выступить сообща. В качестве примеров самоубийственного эгоизма Уоллес-Уэллс ссылается на уже упоминавшиеся Бразилию и США, а также на Китай и Россию.

«Путин, будучи лидером нефтяного государства, которое в силу своего географического положения, возможно, только выиграет от продолжительного потепления, не видит никаких выгод в ограничении углеродных выбросов или “озеленении” экономики – ни в России, ни в мире» (с. 254–255).

Впрочем, даже если бы российский лидер оказался самым заядлым сторонником экологически ответственного мышления, это ничего не изменило бы, поскольку на долю России приходится слишком малая доля общемирового ВВП. От глубокой печали, вызываемой подобными констатациями, отчасти спасает то, что все необходимые ресурсы, позволяющие по-настоящему подступиться к проблеме климата, у человечества есть – и это чистая правда. Но чего-то важного все-таки хронически не хватает. «Политическая воля – это не тривиальный компонент, всегда лежащий под рукой», – говорит автор (с. 69). И это, увы, тоже правда.

В заключение хотелось бы поделиться еще одним наблюдением – на этот раз касающимся не содержания книги, а ее оформления. Работа снабжена поистине грандиозным научным аппаратом: в ней сотни и сотни сносок, автор старается подать свои тезисы предельно аргументированно. Но, попытавшись обратиться к справочным материалам, я поначалу был крайне разочарован: их попросту нет в тексте! Однако негодование на издательство, «не доделавшее» важную часть работы, быстро сменилось чем-то вроде восхищения, когда на последней странице был обнаружен QR-код, позволяющий ознакомиться со всеми ссылками и примечаниями на отдельной интернет-странице. Вот это, как представляется, по-настоящему современно: издательство «Индивидуум» на деле объясняет читателю, как можно вносить пусть скромный, но реальный вклад в борьбу с глобальным потеплением, экономя тонны бумаги. Вот он – пример экологически ответственного поведения, безусловно, достойный подражания.

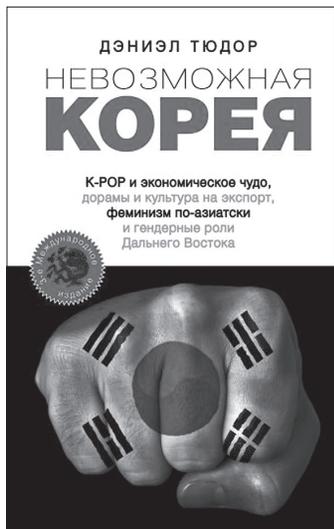
Александр Клинский



Невозможная Корея: К-POP и экономическое чудо, драмы и культура на экспорт, феминизм по-азиатски и гендерные роли Дальнего Востока

Дэниэл Тюдор

М.: АСТ, 2020. – 352 с. – 2000 экз.



Автор этой книги довольно хорошо известен российскому читателю: «Невозможная Корея» стала третьей его работой, представленной по-русски⁴. Правда, если две предшествующие публикации были посвящены таинственному и пугающему царству чучхе, то теперь в фокусе авторского внимания оказалась южная часть Корейского полуострова. Смена акцентов обосновывается довольно убедительно: в самом деле, культурные и экономические достижения Республики Корея уже давно не соответствуют ее скромному месту на карте мира – тем более, что южнокорейский социум меняется с фантастической скоростью, а его культура в последние годы заявляет о себе во весь голос. Дэниэл Тюдор хорошо знаком с предметом своих штудий: он давно

работает в стране – в том числе представляя в первой половине 2010-х журнал «The Economist» – и, соответственно, глубоко и всесторонне осведомлен. Кстаги, его экспертиза была по достоинству оценена мировой читающей публикой: рецензируемая книга уже переведена на корейский, китайский, тайский и польский. Теперь настал черед русского перевода.

Книга состоит из пяти частей. В первой («Основы») обстоятельно разбираются религиозные основания корейской социальной жизни, а именно влияние на нее шаманизма, буддизма, конфуцианства и христианства. Прежде всего читатель узнает, что в передовой и глобализированной Южной Корее поразительным авторитетом пользуется традиционная симпатическая магия. Местная шаманская традиция (*Мусок*), которая намного древнее истории самой Кореи, жива и сегодня: как ни удивительно, шаманизм по-прежнему «вплетен в саму ткань корейского общества и все еще оказывает влияние даже на самых рациональных городских жителей» (с. 27). Современные корейцы обращаются к услугам шаманок (в основном это занятие для женщин) по впечатляюще широкому спектру поводов. И хотя в первую очередь в ходе шаманских консультаций решаются психологические проблемы из разряда тех, которыми на Западе занимаются психоаналитики, дело не ограничивается только этим: у прорицателя могут попросить совета как в руководстве семейным предприятием, так и в ведении предвыборной кампании. Тюдор приписывает этому увлечению шаманизмом особую значимость: по его мнению, заложенное в магическом мышлении стремление выстраивать условные и эфемерные связи между явлениями объективного мира никогда не позволяло

⁴ См.: Тюдор Д. *Спросите у северокорейца. Бывшие граждане о жизни внутри самой закрытой страны мира*. М.: Эксмо, 2019; Тюдор Д., Пирсон Д. *Северная Корея изнутри. Черный рынок, мода, лагеря, диссиденты и перебежчики*. М.: Эксмо, 2018. См. также рецензию на вторую из указанных книг, опубликованную в «НЗ»: 2018. № 5(121).

корейцам впадать в догматизм. В итоге, полагает он, «готовность адаптироваться оказалась одним из важнейших достояний этой страны» (с. 37).

Сказанное в полной мере проявилось в беспроблемной рецепции на Корейском полуострове иных религиозных систем. Первым это ощутил на себе буддизм, который в IV веке с легкостью вписался в местный конфессиональный ландшафт. Закрывая глаза на философские противоречия, разделяющие шаманистов и буддистов, корейцы в равной мере обращаются к обеим религиям: в момент нужды они стараются использовать то, что лучше работает. Подобно шаманизму, буддизм оказался религией преимущественно низших слоев – представители элит, напротив, отторгали учение Будды, так как принадлежность к нему не сочеталась с социальным престижем. Тем не менее в наши дни, как отмечает автор, 23% населения относят себя к буддистам: их религия лишь слегка отстает от христианства, приверженцами которого в середине 2000-х называли себя 29% (с. 42).

Хотя склонность к постоянному самосовершенствованию, которая отличает корейскую культуру, имеет прямое отношение к буддизму, на то, как корейцы его добиваются, ощутимо повлияла еще одна мировоззренческая система, тоже заимствованная страной извне. Речь идет о конфуцианстве, которое, как пишется в книге, «вызвало в корейцах неутолимую жажду знаний» (с. 46). Несмотря на естественное ослабление конфуцианских традиций в XX веке, обусловленное конфликтами поколений и кризисом института семьи, Южная Корея, как прогнозирует автор, никогда не избавится от конфуцианства полностью, поскольку оно слишком уж органично вписалось в палитру мировоззренческих установок, разделяемых местными жите-

лями. Эту идею образно выразил один из американских миссионеров позапрошлого столетия, который сказал, что «настоящий кореец следует конфуцианству в общественной жизни, обращается к буддизму во время философствования и поклоняется духам, столкнувшись с трудностями» (с. 51).

Но самую удивительную историю успеха на корейской земле продемонстрировал, разумеется, протестантизм, который за очень короткое время прошел путь от запрещенной секты до религии истеблишмента. Феноменальный подъем этой христианской конфессии начался в 1960-е: если в 1958-м в Южной Корее насчитывалось около 800 тысяч протестантов, а в 1978-м – больше 5 миллионов, то в настоящее время – уже 11 миллионов, причем, согласно данным социологических опросов, 80% из них посещают церковь хотя бы раз в неделю. Если добавить к протестантам еще три миллиона местных католиков, то на долю христиан придется более четверти всего южнокорейского населения – пропорция, довольно необычная для страны Восточной Азии (с. 65). О том, как вера Лютера и Кальвина влияет на экономику, написаны многие тома, и Южная Корея не стала исключением из общих правил. Что особенно интересно в ее случае, так это необычный симбиоз протестантизма с традиционными восточными культурами, породивший самобытный набор стимулов к трудовой деятельности и экономическому успеху. Кстати, приводимые автором данные заставляют усомниться в позиционировании Южной Кореи в качестве страны «конфуцианской культурной зоны»⁵, хотя и во все прочие зоны ее вписать тоже не легко. По-видимому, именно этот безбрежный синкретизм и обеспечил по крайней мере половине Корейского полуострова те феноменальные успехи, которые она демонстрирует с 1945 года. Впрочем, рассуж-

5 См., например: Инглхарт Р., Вельцель Х. *Модернизация, культурные изменения и демократия*. М.: Новое издательство, 2011.

дая о роли религии в корейском обществе, напоминает автор, не нужно забывать, что в 2015 году 56% южнокорейцев относились к агностикам или атеистам, не исповедуя никакой религии (с. 9).

Всем религиозным системам, укоренившимся в Корее, приходилось иметь дело с самобытным комплексом культурных кодов, которые на протяжении истории «подгоняли» под себя верования и обряды. Знакомство с этими феноменами, представленными во второй части («Культурный код»), способно опровергнуть многие читательские предубеждения относительно психотипа корейцев. Автор начинает со слова *чон*, которым обозначается один из ключевых концептов корейской культуры. Это явление, будучи «невидимым объёмом», которое объединяет людей» (с. 101), позволяет осознать те нюансы корейской жизни, которые при строго рациональном взгляде остались бы вне поля зрения. *Чон* есть своеобразное негласное соглашение, которое обязывает людей, в нем участвующих, поддерживать друг друга, причем всеми силами и средствами. «В Корее нравственный императив, заключающийся в необходимости помогать друзьям, куда сильнее, чем в других культурах», – отмечает Тюдор (с. 103).

Социальный радиус действия *чон* не слишком определен – он может быть различным, простираясь от родственного круга до «знакомых моих знакомых» или «друзей моих земляков», – но это, бесспорно, действенная вещь. Иностранцы, сталкивавшиеся с *чон*, восхищаются и ужасаются одновременно, поскольку эти эфемерные, но реальные узы заметны осложняют ведение бизнеса в Корее: «Если человек ощущает связь *чон* с кем-то, то он будет считать своим долгом заключить сделку именно с ним, а не с незнакомцем – даже если тот предлагает более выгодные условия» (с. 104). Фаворитизм, протекционизм и коррупция, которые сохраняются в современной Корее

вопреки ее неоспоримой продвинутости во множестве областей, – прямые порождения *чон*. Именно из-за него социальные антропологи по-прежнему считают Корею одной из самых коллективистских стран мира, которая, основательно приобщившись к постмодерну, парадоксально сохраняет нетронутыми некоторые ключевые особенности сельского уклада жизни (с. 109).

В Восточной Азии корейцы известны своей эмоциональностью, которую специалисты связывают с *хан* – уникальным чувством неизбывной меланхолии, приписываемым исключительно этому народу. Культура *хан* до краев наполняет и жизнь, и искусство, что порождает разговоры о том, что «быть корейцем – значит нести в себе невыносимую грусть» (с. 132). Ту или иную разновидность тоски практикуют многие народы, но «корейцы склонны утопать в своей грусти, наслаждаться ею почти в романтическом смысле»: излюбленным образом корейского кинематографа уже давно стала женщина, стоящая ночью на улице в ожидании любимого, который так никогда и не приходит (с. 134). Всеохватность *хан*, несомненно, требует мощной компенсаторной реакции, и поэтому у него имеется зеркальная противоположность. В то время, как склонность корейцев к негативным эмоциям не вызывает сомнений, в корейской культуре столь же широко обнаруживает себя гипертрофированное чувство восторга и ликования. Эту ее сторону называют духом радости, обозначаемым термином *хын*. И хотя о *хын* говорят не так часто, как о *хан*, последнее отнюдь не уступает первому в значимости. В целом же, заключает автор, «из-за *хан* и *хын* классические стереотипы о жителях Восточной Азии как о невозмутимых и чрезвычайно сдержанных людях оказываются абсолютно ложными применительно к Корее» (с. 132).

Еще одной социальной эмоцией, на этот раз новоявленной, но тем не менее столь же массовой, автор считает «неофилию» –

страсть ко всему новому. Нынешний Сеул совершенно не похож на тот город, каким он был полвека назад; этот факт не только напоминает о многочисленных достижениях корейского социума за очень короткий промежуток времени, но и доказывает, что для подобных свершений необходима перманентная готовность общества меняться. «Высокие темпы развития, кажется, заложили в корейцев стремление всегда искать что-то новое», – отмечается в книге (с. 151). На эту увлеченность новизной влияет также и издавна культивируемая конфуцианской моралью необходимость поддерживать свой социальный статус, ведя ради этого непрекращающееся состязание с другими. Именно этот дух соперничества, который помог в свое время поднять корейскую экономику из руин, в настоящее время проявляет себя в одержимости образованием как главным орудием, обеспечивающим общественное признание, и – в увлеченности корейцев собственным имиджем. Расходы на косметику или пластическую хирургию в нынешней Корее остаются одними из самых высоких в мире: в 2010 году, сообщается в книге, на долю Южной Кореи приходилось 18% всех мировых трат на мужские средства по уходу за кожей, а на одежду местные мужчины тратят даже больше, чем женщины (с. 118). В социуме, где экономический и технологический прогресс воспринимается как необходимость, никто не желает оказаться среди отстающих.

В третьей части («Хёнсилль: холодная реальность») затрагивается проблема корейского объединения, с которой, по мнению автора, связано множество недоразумений. Представляемая читателю картина оказывается весьма противоречивой: несмотря на риторику унификации, регулярно демонстрируемую политиками Сеула, реальное отношение граждан Южной Кореи к воссоединению со своими «северными братьями» гораздо сложнее. Бесспорно,

появление единого корейского государства позволило бы конгломератам-*чеболям* за бесценок нанять миллионы рабочих, говорящих по-корейски, минимизировав их расходы, но зато для трудоспособного населения Южной Кореи оно было бы чревато потерей рабочих мест и повышением налогов – ведь отсталую часть полуострова придется подтягивать до уровня передовой, а это не дешевое предприятие. «Я не хочу, чтобы Южная и Северная Корея объединились, – говорит автору собеседник из числа “белых воротничков”. – Это сплошная головная боль, которая к тому же дорого нам обойдется» (с. 170). И хотя в СМИ подобное отношение критикуется как «потребительское» и «непатриотичное», на деле оно крайне распространено, особенно среди местной молодежи. На другие же возрастные группы интеграционный дискурс опираться не может: согласно элементарной математике, к 2025–2030 годам совсем не останется в живых тех корейцев, которые способны вспомнить родственников или друзей с Севера. Принято считать, что главными преградами на пути единства выступает наличие на Юге и на Севере двух совершенно разных политических и идеологических систем, подкрепляемое заинтересованностью крупных держав в лице США и КНР в сохранении тупиковой ситуации. Но, как полагает Тюдор, это далеко не центральная проблема: «Главным сдерживающим фактором вполне может оказаться банальный недостаток у южных корейцев стремления к объединению» (с. 170).

Но даже если бы соответствующую политическую волю удалось сформировать, объединение не стало бы праздником. За два поколения части Корейского полуострова отделились друг от друга до такой степени, что стали абсолютно разными мирами. На протяжении своей нелегкой истории корейцы, донимаемые могучими соседями, поневоле сделались ярыми националистами; автор называет их национализм

«защитным», указывая на то, что его назначением было сохранение себя, а не подчинение других. Но после братоубийственной войны 1950–1953 годов Южная Корея, во-первых, пережила американизацию, а во-вторых, втянулась в глобализацию. В результате, несмотря на присутствие в сознании ее жителей здоровой толики национальной гордости, одним из аспектов которой выступает и прославление родного языка, страна просто одержима внешними культурными заимствованиями. В результате «в корейском языке циркулируют тысячи слов, заимствованных из иностранных языков, в особенности из английского» (с. 232). И если две Кореи когда-нибудь вновь сойдутся вместе, северяне, при коммунистах строго оберегающие родные лексические устои, несомненно, будут поражены тем, как изменился их общий язык на Юге и как там теперь на нем говорят. Это обстоятельство усугубит и без того грандиозный культурный шок, который ожидает их при знакомстве с институциональными устоями южнокорейской демократии.

В четвертой части («В нерабочее время») автор увлекательно рассказывает о различных бытовых особенностях корейской жизни, включая местные жилищные обыкновения, мировоззренческие принципы корейской кулинарии, нынешнее состояние южнокорейской музыки и южнокорейского кинематографа. Отдельное место отводится весьма непростым отношениям корейцев с алкоголем. По данным Всемирной организации здравоохранения, южные корейцы употребляют за год в среднем 14,8 литра алкоголя на человека, немного опережая не только британцев, но даже ирландцев. Как полагает автор, только «самый пьющий из неевропейских народов» мог придумать девиз, сегодня вдохновляющий тысячи сеульских любителей ночной жизни: «Давай пить до смерти!» (с. 278–279). Обычай напиваться до потери сознания распространился в корейском обществе

в период индустриализации 1960–1970-х, когда посредством специально организуемых и даже финансируемых начальством алкогольных вечеринок корейские предприятия сплачивали трудовые коллективы после долгого и тяжелого рабочего дня. На протяжении полувека он пустил глубокие корни. Впрочем, несмотря на аномальное распространение заболеваний печени, не все так безнадежно: помимо алкоголя, корейцы в последние десятилетия необычайно пристрастились к кофе. Открыв свою первую здешнюю кофейню в 1999 году, компания «Starbucks» всего за десять лет довела число своих южнокорейских заведений до 360. В нынешнем Сеуле есть район, где работают 4000 кофеев. Интересно, что пьянство и кофемания поддерживаются одной и той же, по сути, социальной потребностью. Даже став ультрасовременной, Южная Корея остается страной, в которой важную роль играет коллектив, а люди стараются не проводить время в одиночестве. Корейцы не любят оставаться дома, и, когда им скучно, они зовут друзей встретиться, – рассказывает автор. – И если они сегодня не намерены пить, то скорее всего вместе направятся в кофейню (с. 287).

В пятом разделе («Мы» важнее, чем «они») автор показывает, что Южная Корея уже не замкнутая и консервативная страна, какой она была совсем недавно, а социум, открытый миру, способный к творческому переосмыслению собственных традиций. На протяжении веков Корейский полуостров рассматривался соседними державами в качестве стратегического плацдарма для закрепления в Азии. Экспансионистские поползновения извне породили жесткий этнический национализм, озабоченный «чистотой корейской крови». Однако, превратившись всего за полвека в процветающее и динамичное государство, Корея постепенно утратила страх перед внешними угрозами; сегодня наиболее злым ее врагом выступает пхеньянский

режим. Конфликт двух корейских государств, во-первых, подорвал основания этнического национализма, а во-вторых, заставил южных корейцев пересмотреть былые фобии. «Корея, ранее известная своей ксенофобией, постепенно начала меняться» (с. 290). С началом «экономического чуда» число проживающих на Юге иностранцев резко выросло, и сейчас около 10% браков являются смешанными – показатель, который для азиатской страны можно признать невиданным. Статистика свидетельствует, что молодое поколение готово перейти к новому этапу – к полной открытости по отношению к миру. (С этим, кстати, связано и бурное распространение в южнокорейском обществе феминистского движения, неуклонно набирающего силу.) В обществе, где национальность человека издавна определялась этнической принадлежностью, иностранцы впервые получили возможность почувствовать себя частью собирательного «мы», а не «чужакми». Корей-

ское общественное мнение в свою очередь также видит в этом плюсы, «поскольку иностранцы могут стать практичным решением острой социальной проблемы – крайне низкого уровня рождаемости в современной Южной Корее» (с. 302).

По признанию автора, когда он писал свою книгу, ему хотелось, чтобы «Невозможная Корея» стала для читателей отправным пунктом знакомства с интересной и необычной страной. Разумеется, триста страниц позволяют, применяя корейскую поговорку, лишь «облизать кожуру арбуза», оставив в стороне множество подробностей и нюансов. «Я посчитал бы величайшим комплиментом, если кто-то после прочтения этой книги решит приехать сюда и увидеть Корею своими глазами», – говорит Тюдор (с. 10). Завершив чтение, могу признаться: по крайней мере одним таким желающим стало больше.

Юлия Крутицкая